# Зулейха открывает глаза

# Монолог по мотивам романа Г. Яхиной

 Схрон был в надежном месте. Разбрасали сугроб под липой. Я не умею читать, но знаю, что там высечено: Шамсия, дочь Муртазы Валиева. И дата: 1917 год. Нащупала под снегом еще один таш: Фируза, дочь Муртазы Валиева. 1920 год. Следующий таш: Сабида. 1924. Следующий: Халида. 1926. Муртаза дышит недовольно, шумно, но отставил лопату – ждет. «Прости нас, зират иясе, дух кладбища. До весны не хотели тебя тревожить – да пришлось», – шепчу. «И ты прости, дочка. Знаю, не сердишься. Ты и сама рада помочь родителям». Встала с колен, киваю головой: теперь можно. Муртаза долбит землю у могилы, в ней длинный деревянный ящик. Он ссыпает туда зерно. Хлеб. Сильный мужчина, большой. И работает умело. И бьет несильно. Как-то раз не угодила Упырихе, матери Муртазы. Он схватил меня: «Лежи смирно, женщина», – говорит и начал бить. Метлой по спине – это не больно. Почти как веником. Я лежу смирно, как и велел муж, только вздрагиваю и царапаю ногтями лэукэ при каждом ударе, – поэтому бьет он недолго. Быстро остывает. Все-таки хороший муж мне достался. Потом я его парила и мыла. Самой вымыться уже нет сил – за день усталость просыпается, голову мутит. Остается только вымыть полы в бане – и спать. И тут слышу: «Зулейха‑а‑а». Это Муртаза зовет; голос – довольный, ласковый. Шатаясь, иду на зов мужа. Заползаю на сяке. Муртаза нетерпеливыми руками спускает с меня шаровары, укладывает на спину, задирает кульмэк. Ощущаю, как лицо накрывает длинная, еще пахнущая баней и морозом борода мужа, а недавние побои на спине ноют. Тело Муртазы наконец откликнулось его желаниям, и он торопится исполнить их – жадно, сильно, долго. Во время исполнения супружеского долга я обычно мысленно сравнивала себя с маслобойкой, в которой взбивают масло. Хороший муж достался, грех жаловаться. Едем назад, дело сделано. Слава Аллаху, никто не заметил. Пение настигло нас внезапно – уверенный мужской голос. Красивый, глубокий, где-то далеко в лесу. Слова русские, мелодия незнакомая. Хочу послушать, но Муртаза отчего-то засуетился, подгоняет Сандугач. «Лопаты спрячь», – бросает сквозь зубы. Укутала лопаты мешками, сверху прикрыла юбками. Аллах наградил меня прекрасным зрением. Сквозь солнце разглядела непривычно гладкое для мужчины лицо красноордынца (ни усов, ни бороды – как девушка, одно слово). Глаза под козырьком кажутся темными, а ровные белые зубы – сделанными из сахара. Красноордынец уже совсем близко. Улыбается мне, бесстыжий. Опускаю глаза, как и положено замужней женщине. Конный отряд нагоняет. У каждого за спиной – винтовка. Красноордынец схватил Сандугач под уздцы. Сани остановились, Муртаза бросил вожжи. На конных не смотрит. «Да они тут по-русски ни бельмеса, товарищ Игнатов», – это сказал пожилой военный с длинным шрамом через пол‑лица. Красноордынец Игнатов внимательно оглядывает Муртазу. Говорит: «Куда ж ты ездил спозаранку, хозяин? Да еще и с женой. Что потерял в лесу?» «А они грибы под снегом копали», – чернявый приподнимает штыком мою юбку – из-под мешков показываются лопаты. «Да немного набрали!» – подхватывает один из мешков на острие штыка и трясет им в воздухе. Смешки перерастают в заливистый смех. Несколько зерен упало из мешка мне на юбку – и смех оборвался, как ножом срезали. Я торопливо собрала зерна в кулак. Конные молча окружили. Игнатов тихо: «Грибы, значит… А может, ты, кулацкая гнида, что другое в лесу копал?» Игнатов достал черный револьвер, наставил на Муртазу. « Не отдам!» – хрипит Муртаза. Взмахнул топором. Лязгнули винтовки. Игнатов нажимает на спуск – выстрел. Тело Муртазы валится в сани лицом вниз. Игнатов посмотрел на тело, взял топор и с размаху всадил его в задок саней – в пальце от головы Муртазы. Скоро топот копыт стих. Я осталась одна посреди леса. Сижу неподвижно, сжимаю в кулаке зерна. Передо мной тело Муртазы – он руки и ноги разметал. Спит, как обычно на сяке, даже мне рядом не поместиться. Так и не смогла вспомнить, как доехала до дома. Как оставила лошадь, как ухватила Муртазу под мышки и потащила в дом. Взбила ему подушки (повыше, как он любит), раздела, уложила на сяке. Сама легла рядом. Пролежали так долго, всю ночь. Лежали, плечо к плечу, и смотрели на потолок. Впервые Муртаза не гнал меня на женскую половину. Это было совершенно удивительно. Стук – громкий, настойчивый. Хлопает дверь в сенях, дверь в избу. Надо мной склонился Председатель сельсовета – Мансурка‑Репей. Он деловито смотрит. Переводит взгляд на лицо Муртазы, разглядывает черное запекшееся пятно на его груди. «Вставай, разговор есть. Зулейха!» – трясет за плечо. «Вставай, женщина!» – громко и зло кричит по-татарски. Тело откликается на знакомые слова. Медленно опустила ноги на пол, села на сяке. В центре избы стоит Игнатов. Не глядя на меня, достает бумагу, карандаш. « Пусть распишется», – говорит. «Что это? Мансурка, это зачем?» – говорю. А он: «Выселяем вас…тебя. Как кулацкий элемент первой категории. Партсобрание утвердило», – Мансурка тычет коротким пальцем в бумагу на сундуке. Я в пол: «Не подпишу. Никуда не поеду». «Не подпишешь – та́к поедешь», – говорит Мансурка. Я так и упала на колени, припала лбом к руке Муртазы. Муж мой, данный Всевышним, чтобы направлять, кормить и защищать, – что делать? Меня касается стальное лезвие – военный стучит штыком по плечу. Мотаю головой: не пойду. И тут же сильные руки подхватывают в воздух. Дрыгаю руками и ногами, из-под юбок сверкают шаровары, – но военный держит крепко, до боли. « Не тронь!» – кричу из-под потолка. «Грех!» Мансурка откуда-то снизу спрашивает: « Сама поедешь? Или понести?»  «Сама», – отвечаю». Взяла с собой узел, остаток каравая – в один карман, с подоконника отравленный сахар – в другой. Готова в дорогу. Села в сани – по привычке спиной к лошади. Выехали со двора. «Мой Муртаза тебя убьет! Убьет! Зулейха‑а‑а!» – голос Упырихи несется вслед. Ворота мужниного дома удаляются. А я выворачиваю шею и смотрю, смотрю на них. «Зулейха‑а‑а!» – воет в ушах ветер. Повернула голову вперед.

 Казань. Шагаю в темень, пахнет давно не мытыми телами. Людей так много, что некуда ступить. Стараюсь не наступать на чужие руки и ноги, пробираюсь вглубь. Добралась до нар, не знаю, куда пристроиться. Вдруг кто-то сдвинулся вбок, освободил кусок нар размером с ладонь. Присела, прошептала в темноту «спасибо». В животе заныло – достала из кармана остаток каравая. Странный сосед шумно втянул ноздрями воздух, смотрит на хлеб. Отломила кусок пополам и протянула половину. Сосед засунул свою долю в рот и проглотил, почти не жуя. Так остаток черствого каравая положил начало дружбе. Мы с Вольф Карлович Лейбе стали собеседниками. Он изредка говорил, а я слушала, не понимала ничего, но чувствовала важный смысл и радовалась общению с таким ученым мужем. Большую часть времени мы молчали, но молчание это не было утомительным.

 «Зулейха Валиева!» «Я». За всю жизнь не произнесла столько раз «я», как за месяц в тюрьме. Скромность украшает – не пристало порядочной женщине якать без повода. Даже язык татарский устроен так, что можно всю жизнь прожить – и ни разу не сказать «я». В русском – не так, здесь каждый только и норовит вставить: «я» да «мне», да снова «я»… «Вольф Лей‑бе!» «Сколько раз просил медперсонал называть меня по имени‑отчеству!» – эту фразу Вольф Карлович слово в слово повторяет каждый день при перекличке. А затем вдруг: «На выход! С вещами! Остальным оставаться на местах!» Скоро глаза привыкают к дневному свету. С обеих сторон гигантскими змеями – вагоны. Грохот, лязг – страшно. Тогда впервые в жизни видела поезд. «Слушай меня внимательно! Я – ваш комендант…» – узнаю голос: красноордынец Игнатов – убийца Муртазы. Я не знала, что такое комендант. Он сказал: ваш? Значит, надолго вместе? «…И повезу вас, граждане раскулаченные, и вас, граждане бывшие люди, в новую жизнь…», – говорит. Бывшие люди? Бывшие люди – это мертвецы. Оглянулась. Бледные усталые лица. Дрожат, жмутся друг к другу. Но не мертвецы, нет. «…Долго вы пили кровь трудового крестьянства… Моя задача – доставить вас в новую жизнь целыми и невредимыми. Ваша задача – помочь мне в этом. Вопросы будут?» Вагон раскрывается. Переселенцы, пихая друг друга локтями, лезут в вагон, чтобы занять места. Осторожно зашла. Опять становится темно, как в камере. Вот и все: вагон к отправке готов.

 Обжились быстро. Да и что там обживаться – вещей мало, места тоже. Есть хотелось всегда. Живот ныл, требовал. Даже не знала, что может быть *такой* голод. В глазах от него темнело – вот какой. Чуть звякнет вагонный засов – желудок тотчас рычит, волнуется: не есть ли принесли? Чаще окажется – нет, очередная проверка. Иногда ловила на себе внимательный взгляд соседа. Лейбе долго и пристально смотрел, как я вылизывала языком плошку. И вдруг отдавал свой наполовину съеденный кусок хлеба или остатки каши. Сначала отказывалась, затем перестала. Только благодарила и слушала его путаные речи.

 Стою перед огромной, во всю стену, картой, по которой распласталось гигантское алое пятно – Советский Союз. «Это правда, что ты помогла им бежать?»  – голос Игнатова. Он стоит у окна, лицом на улицу, курит. «Не отпирайся», – продолжает. «Сама почему осталась?» Ночью уже растолкали меня со сна, привели в большую комнату. «Ты – в молчанку? У нас, значит, побег, а ты в молчанку?!» Он подходит к столу и резко тычет самокруткой в маленькую плошку, всю в окурках. Плошка звякает, падает на пол – окурки разлетаются во все стороны. Игнатов шипит – *ч‑ч‑черт!* – и начинает собирать. Присела торопливо рядом. Разве ж это видано, чтобы мужчина при женщине мусор с пола подбирал, а я бы смотрела! От Игнатова пахнет теплом. «Тебе же лагерь светит, дура», – его голос совсем рядом. «Или вышка. Знаешь, что такое вышка?» Подняла глаза. «Я по‑русски плохо понимаю», – говорю. Жесткие горячие пальцы сжимаются на подбородке. «Врешь!» – шипит Игнатов. «Все ты понимаешь, только сказать не хочешь. Ну, говори! Куда они хотели уйти? Говори!» Подбородку больно. «Не знаю ничего. Видела то, что остальные видели. Слышала то, что остальные слышали». Лицо Игнатова приближается к самому уху, на щеке – его дыхание. «Ох и упряма татарская баба… Зулейха – так тебя зовут?» Повернула к нему лицо: « Зря я не сбежала. Жалею теперь». Открываетсясь, дверь. «Конвойный!» – раздается голос. Игнатов отпустил мой подбородок – кожа горит, как обожженная. Поднялась следом, поставила на стол плошку с окурками. А руки‑то – черные, будто уголь месила. Игнатов берет фуражку, надевает, медленно идет к выходу. «Заберу я ее», – и вышел из комнаты. Я - испуганно следом. Вдруг что-то в животе: я стою, голову назад откинула. Начинаю медленно оседать. Ложусь на землю. Игнатов присел рядом. Он чертыхается и поднимает меня на руки. Понемногу пришла в себя, обхватила его за шею. Сейчас же послали за доктором, подняли с постели, привезли. Врач осмотрел: «Сердце в норме», – говорит. «Легкие тоже. Кожные покровы чистые. Причиной обморока может быть все, что угодно», – продолжает бубнить.  «Или беременность», – раздается громко и внятно из глубины. Лейбе втыкает в доктора взгляд. Тот садится обратно на нары, щупает нижнюю челюсть. «Выдохни», – приказывает тихо. Выдыхнула, задержала дыхание. Доктор накладывает ладони на живот. Со значением смотрит на профессора: «Пальпирую увеличение матки». Я тихо, по‑собачьи завыла. Беременна? Да, все время хотелось есть – но ведь не кормили. Да, немного потяжелел в последнее время живот – но ведь думала: от возраста. И *красные дни* перестали приходить – думала, от переживаний. Но чтобы – беременна… Ай да Муртаза – обманул смерть. Сам в могиле давно, а семя его – живо, растет у меня в животе. Уже и наполовину выросло. Опять девочка? Конечно, кому же еще быть. Как там Упыриха говаривала? *Одних девок на свет приносишь, и те – не выживают. Шамсия – Фируза*, стучат колеса. *Халида – Сабида*. И опять: *Шамсия – Фируза. Халида – Сабида.* Так не лучше ли – *сразу*? Только мучиться ожиданием. Устала мучиться, устала стыдиться. Стыдно было постоянно: когда чувствовала идущий от себя запах немытого тела, когда на глазах у всех приседала у нужника, когда по ночам прижималась к спящему профессору, чтобы хоть как-то согреться. Когда во всеуслышание объявил о моей беременности – завыла: как же стыдно, стыдно, стыдно. Срам, придется вынашивать при всех. Вжалась лицом в свой полушубок. Уткнулась во что-то острое. Вывернула карманы, нашла небольшой, почти закаменевший кусок. Сахар! Тот самый, от Муртазы. Ведь уже успела забыть про него, а вот он, никуда не делся. Долгие недели носила с собой в кармане смерть – верно, для того, чтобы обнаружить в эту горькую минуту. Кусать понемногу или попытаться рассосать весь кусок разом? Буду ли мучиться? Да не все ли равно…«Сахар? Mein Gott, откуда?» – совсем рядом удивленные глаза профессора. Он проснулся, смотрит на меня. Сжала сахар в кулаке. «Ешьте, прямо сейчас…» - скоро он уже спит. Убрала сахар обратно в карман тулупа. Теперь, когда моя смерть была найдена и лежала совсем рядом, стало много спокойнее. В любую минуту можно принять ее, возблагодарить Аллаха, который услышал и ответил на мольбы.

 Красноярск. Снаружи – собаки лают. К чему бы? Дверь вагона отъезжает, резкий голос командует: «Выходи‑и‑и‑и!» Шла последней, одной рукой придерживала узел с вещами, второй – большой живот. Нас грузят на маленькую пузатую баржу. Баржу звали «Кларой». В трюме мне скоро поплохело, и Игнатов разрешил выпустить меня на палубу. Подошел, посмотрел, как меня выводят на свежий воздух, сажают в тень. «Прикажете охранять?» – солдат кивает на меня: живот горой вперед, придерживаю его обеими руками. Посмотрела на Игнатова. «Рожать мне не вздумай!» – говорит он строго и уходит. Часовой принес из трюма узел с вещами, и на ночь я укрылась своим зимним тулупом – ночи стояли прохладные, зябкие. Открываю глаза. Молния. Гром, дождя – нет. Буря началась как-то вдруг. Вокруг уже: горизонт качается, чайки мечутся в воздухе, матросы носятся, как кошки с подожженными хвостами. В чем дело? Палуба скачет под ногами, доски трещат, в лицо – брызги. И тут же сверху – как дождь, как град – черенки, ломы, лопаты.… Палуба кренится, кренится. Большая волна нависает над бортом и трахает плашмя по палубе. Меня несет сквозь толщу воды куда-то вниз. Зелень в глазах, тяжелеет, чернеет. Сжала зубы – не дыши, замри. Большие темные силуэты плывут вдалеке – не то вверх, не то вниз. Обломки? Люди? Рыбы? Прижала руки к груди, подобрала ноги. Косы – узлом вокруг шеи. Аллах Всемогущий, на все твоя воля. Всю меня перекручивает, кувыркает, шваркает боком обо что-то твердое. *Бисмилляхи рахмани рахим.…* В рот заливается вода – горьковатая, хрустит на зубах. *Альхамду лилляхи рабби.…* Не то глотнула, не то вдохнула ту воду. *Алямин… Алямин… Аля…* Тело вздрагивает последний раз и замирает. Руки повисают плетьми, ноги разжимаются. Косы вытягиваются вверх. И погружаюсь – лицом вниз, косами вверх. Ниже, еще ниже, до самого дна. Ступни опускаются в мягкий ил. Лодыжки. Колени. Живот. Ребенок просыпается резко, вдруг. Бьет ножками, второй раз, третий. Живот трясется – маленькие пяточки колотятся внутри. Ноги вздрагивают в ответ. Еще раз. И еще. Отталкиваются от дна. Сжимаются и разжимаются. И руки сжимаются и разжимаются. Всплыла. Свет ударяет в глаза. Кричу, кашляю. Неужели – выплыла? Вода кипит вокруг, бьется, выскальзывает из пальцев. Ухватиться – не за что. Я не умею плавать. Ноги вновь тянут вниз. Неужели еще раз – ко дну? Голова уходит под воду. И Алла… Чьи-то руки тянут за косы вверх. «На воду ложись!» – знакомый голос рядом. «Пузом вверх!» – Игнатов! Пытаюсь вывернуться, поймать руками, ухватиться хоть за что-то. « Утопишь!» – Игнатов отталкивается, но кос не выпускает. «Ложись, дура!» Кашляю, вою, едва слышу. Но стараюсь, переворачиваюсь животом вверх, ложусь на воду. Живот вздымается над волнами, как остров. Волны хлещут в лицо, дождь – сверху. «Руки‑ноги – звездой! Звездой, кому велено!» – лицо Игнатова где-то совсем рядом, где – не разберешь. «Вот так! Молодец, дура.» Расправляю руки и ноги, качаюсь медузой. Лишь бы хватило воздуху дышать, лишь бы хватило. «Держу тебя, держу», – голос рядом. «За косы держу». Ребенок успокоился в животе, не мешает. И волны понемногу утихают, мельчают. «Ты здесь?» – боюсь повернуть голову, чтобы не хлебнуть воды. «Здесь», – голос рядом. «Куда уж теперь от тебя денусь». Игнатов хотел было плыть к берегу, но я не смогла. Так и качались по течению. Нас выловили через пару часов, продрогших, с чернильно‑синими губами. Кроме нас спаслись еще несколько матросов. Когда всех, обессиленных, дрожащих от холода, положили на палубу и велели снять и отдать на просушку одежду, я сунула руку в карман – за сахаром. Вытащила лишь пригоршню белого киселя. Расправила пальцы – кисель тотчас просочился сквозь.

 Обещали подмогу. Надо продержаться неделю. Вполне может пройти и полторы недели, а то и две. Как раз к концу августа. А снег‑то уже валил, словно и не лето здесь вовсе, а осень. На Ангаре нет людей. Зато тетерева здесь – жирные и глупые, за ними ходил Игнатов. Приноровилась ощипывать птицу большой еловой щепкой. Правильно говорила мама: главное в любом деле – руки и голова. Тушки еще и остыть не успевали, ощипывались хорошо, послушно. Рядом притулилась Изабелла. Нас вдвоем – беременную и самую старую – оставили у огня костровыми и кухарками. Остальные собирали шалаши и обустраивали лагерь. Хорошо быть полезной. Ходить за ветками в ельник и обратно к лагерю уже трудно – после плавания в Ангаре живот погрузнел, младенец постоянно шевелится, дергается, а ноги совсем ослабли, лоб потел. Подарок Муртазы, отравленный сахар, утек в Ангару. Значит, буду рожать, каким бы ни был исход родов. Если Аллах пошлет еще одну смерть ребенка – выдержу. Провидение оставило меня в живых – единственную из всех спутников на смертельной барже. Более того, послало на спасение убийцу мужа, красноордынца Игнатова. Когда я почти захлебнулась и рядом вдруг лицо Игнатова, я ощутила такое огромное счастье, какого никогда не испытывала. Мужу своему никогда так не радовалась, да простит мне покойный Муртаза такие мысли. Он меня спас. Мне хочется просто сказать «спасибо», но я не смею. Внезапно младенец в животе проснулся и начал рвать меня изнутри на куски. Хочется крикнуть, но воздух куда-то делся из груди, а горло сжато – ни вдохнуть, ни выдохнуть. Звезды прыгают в глаза, пляшут у самого лица. Чьи-то голоса, крики, но они уплывают, сливаются, пропадают. А звезды, наоборот, растут, приближаются, громко трещат. Или это огонь трещит? Да-да, огонь! Он вспыхивает и опаляет глаза – зажмуриваюсь и лечу в черноту.

 Сын. Впервые в жизни я родила мальчика – крошечного, совершенно красного, судя по всему, недоношенного. Мгновенно поняла, почувствовала: очень красив – все красивое, до трепета в животе, до холода. Это был самый красивый ребенок из всех, кого я родила. И он все еще жил, дышал. Я перестала думать обо всем, что не касалось сына: про Муртазу, про Упыриху с ее страшными пророчествами, про могилы дочерей. Я не думала о том, где я и что будет завтра. Важен был только сегодняшний день, только эта минута. Перестала бояться даже того, что однажды утром не услышу слабого дыхания в разрезе кульмэк. Знала: если жизнь сына прервется, то и мое сердце мгновенно остановится. Это поддерживало меня, наполняло силой и какой-то незнакомой смелостью. Молиться стала реже и быстрее, словно между делом. В голове поселилась грешная, чудовищная, мысль: вдруг Всевышний так занят другими делами, что забыл про нас – про три десятка голодных, оборванных людей? Вдруг Он отвернул ненадолго строгий взор – да и потерял нас? Это дарило странную, безумную надежду: возможно, Аллах, отнявший у меня четверых детей, не заметит нас? Совсем не молиться не могла (страшно!), но старалась проговаривать молитвы тихо, шептать, а то и вовсе бормотать про себя. Удивительно, но я была счастлива в эти дни – каким-то непонятным, летучим счастьем. Тело по ночам мерзло, днем страдало от жары и комариных укусов, желудок требовал еды, а душа – пела, сердце – билось одним именем: Юзуф.

 В начале зимы решила пойти в лес за орехами для Юзуфа. Вышла из-за куста – Игнатов. «А завалил бы?!  Мы, значит, к тебе со всем пониманием – на кухне оставили, за огнем присматривать. А она – по лесу гулять?!» «Орехов хотела набрать или ягод», – шепчу. «Всем есть хочется!» – Игнатов кричит так, что, наверное, слышно на лесоповале. «Так не для себя. Для него». Игнатов шагает ко мне вплотную, приближает лицо, нависает. Дышит тяжело, громко. «Слушаться меня», – говорит, – «беспрекословно. Велено сидеть в лагере – сиди. Велю по ягоды идти – пойдешь. Ясно?» Младенец на груди вдруг тявкает беспокойно, шевелится, ворчит. В разрезе платья появляется крошечная морщинистая лапка. « Видишь, опять молока подавай». Расстегнула пуговицы на груди. «Уйди. Кормить буду». Злой Игнатов стоит, не шелохнется. Младенец обиженно плачет, поводя носиком и ища вокруг открытым ртом. «Уйди, сказала. Грех смотреть». Игнатов не шевелится, смотрит в упор. Младенец надрывается, горько и обиженно рыдает. Вынула из разреза тяжелую грудь и вставила разбухший сосок в рот. Плач тотчас прерывается – дите жадно ест. Игнатов не отрываясь смотрит на грудь. Потом засунул револьвер в кобуру, ушел. С тех пор он старался не смотреть на меня. Когда, бывало, встречался глазами, тотчас отворачивался.

 Молоко начало убывать в середине зимы. Стала прикармливать сына мясом и рыбой. Вкладывала кусочек в тряпку, всовывала в рот – Юзуф поначалу плевался, затем распознал вкус, сосал. Иногда его удавалось укачать, утрясти, ушептать, – и он засыпал, так и не поев, дарил еще несколько часов жизни без плача. Плач такой визгливый и громкий, что больно ушам. Как-то взяла чью-то оставшуюся с ужина ложку, зачерпнула со дна котла пару капель солянки, вставила Юзуфу в рот. Тот плюет, захлебывается криком. Голос уже усталый, с хрипотцой. Опускаю голову на колени, затыкаю уши, но тише не становится – плач сына будто поселился в голове. В такие минуты иногда кажется, что Юзуфу было бы легче, *уйди* он при рождении. Краем глаза заметила легкое движение – словно дохнуло ветром. Поднимаю голову. У самой печи, на корявом пне сидит Упыриха. Она долго размешивает остатки солянки, затем тщательно обстукивает ложку, кладет на край котла. «Мой сын так не плакал», – говорит спокойно. Юзуф по-прежнему надрывается, хрипит у меня на руках. Мелкая судорога бежит по тельцу, губы наливаются синевой. Капли продолжают падать с ложки в котел – большие, тягучие, тяжелые. Каждая – как удар молота. Уже не звенят – грохочут. Так громко, что заглушают голос сына. Подошла к котлу, беру ложку. Сжимаю черенок в кулаке и ударяю острием ровно посередине среднего пальца. Маленький и глубокий надрез – как полумесяц, брызжет чем-то густым и красным. Возвращаюсь к нарам и вставляю палец в рот сына. Чувствую, как его горячие десны тотчас сжимаются, кусают, прихватывают ноготь. Юзуф жадно сосет, постанывая, постепенно успокаивается – деловито ест, покряхтывая, как ел когда-то мое молоко. Уходит синева с крошечных губ, розовеют щеки, спокойно прикрываются глаза. Совсем не больно. Поднимаю взгляд – у печи уже никого нет.

 Со временем мы стали жить в трех бараках. У каждого были свои – собственные! – нары. Меня так и оставили при кухне. Поставили надо мной сутулого мужчину из *новеньких* – Ачкенази. Когда-то он был поваром. Со мной не разговаривал, лишь перебрасывался короткими фразами, чаще – жестами. Я его слегка побаивалась: Ачкенази был одним из немногих, кто попал в поселок по замене меры наказания, а значит, сейчас должен был бы сидеть в тюрьме вместе с настоящими ворами и убийцами. Преступления его я не знала, но на всякий случай старалась исполнять просьбы быстро и старательно, не раздражать. На поврежденную руку смотрел поначалу плохо: не помешает ли работе? Концы всех пяти пальцев левой руки были слегка покореженные. «В молотилку попала», – объяснила. Вечером до нар еле добредала, падала. И думала: счастье, что при кухне. Во время зимнего голода, Юзуф рос медленно, может, и не рос вовсе. А летом, как только показалось солнце и появилась еда, вдруг стал наверстывать и быстро пошел в рост. Ел много, как взрослый (Ачкенази замечал, что я его прикармливаю, но ничего не говорил, отворачивался). Научился сидеть и быстро, как таракан, ползать. Вот только стоять и ходить не хотел совсем. Скоро ему исполнялся год. Ко мне был привязан болезненно, донельзя. Убегала по делу, знала: будет меня искать. Скрепя сердце первый раз оставила его на кухне надолго. Через несколько часов, накормив всех поселковых обедом, прибежала, с колотившимся сердцем распахнула дверь на кухню: тишина. Бросилась искать сына – а вот он, под столом, спит, уткнул лицо в тряпку, которой я обычно вытирала столешницу. С тех пор стала оставлять ему свой платок – пусть лучше утыкается в него. Голову пришлось носить непокрытой. В последнее время я делала многие вещи, которые раньше казались стыдными, невозможными. Все, чему учила когда-то мама, что составляло, казалось, суть – рассыпалось, распадалось, рушилось. Правила нарушались, законы оборачивались своими противоположностями. Взамен возникали новые правила, открывались новые законы. А еще – каждый вечер носила ужин в комендатуру. Игнатов же всегда ел у себя, один. Обедал он редко, скудно, а ужин просил ему приносить обильный, горячий. Я не знала, что происходит. Нет, знала. Перед собой-то – что таиться.… Поначалу Игнатов словно не замечал меня вовсе. Входила, торопливо ставила еду на стол, чувствовала, как густ и плотен здесь воздух, будто и не воздух – вода. Выныривала обратно в дверь и с облегчением летела вниз по тропинке, глубоко вдыхала и понимала, что в комендатуре отчего-то затаивала дыхание. Все это время Игнатов не то что не взглянул – бровью ни разу не повел. А однажды вдруг посмотрел – тяжело, пристально. Я почувствовала этот взгляд. «Все ли хорошо? – спросила. – Достаточно ли солона еда?» Игнатов не отвечал, все смотрел. Выскользнула вон, перевела дыхание. Спускаясь по тропинке, чувствовала этот взгляд на шее, в том месте, где начинают расти волосы. Стала ходить к Игнатову в платке. А он стал смотреть. От этого воздух становился – даже не вода – мед. Я текла в этом меду. Случись пожар – не смогла бы двигаться быстрее. Выходила за дверь усталая, словно дрова рубила. Знала, что происходит: так смотрел на меня Муртаза – много лет назад, когда я только вошла к нему в дом женой. Убийца мужа смотрел на меня взглядом мужа. Мне бы не ходить в Игнатову, не попадаться на глаза. А как не пойдешь – не Ачкенази же к нему с тарелками посылать.… И ходила: медленно поднималась по тропе, открывала тяжелую дверь, вдыхала поглубже и – ныряла в густой тягучий мед. Ощущала, как в мед постепенно превращается и я сама, вся. Убийца мужа смотрел на меня взглядом мужа – и я превращалась в мед. От этого становилось мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно. Словно весь мой стыд, прошлый и настоящий, слился воедино. Чтобы хоть как-то укрыться от этого стыда, часто представляла себе большой черный шатер из толстых овечьих шкур. Шатер плотной крышкой накрывал комендатуру и Игнатова, полог задергивался – все плотское, стыдное оставалось там, внутри.

 Впервые это случилось в конце июля. Я тогда и не поняла ничего. Только внесла на кухню ведра с водой, Юзуф метнулся ко мне на корточках, как зверок, – и вдруг рухнул на пол, лежит без движения, как подстрелили. Я – к нему, схватила, трясу. У того лицо белое, губы – сизые, сам – не дышит. Ачкенази мне: «В лазарет, быстро!» Подхватила вмиг захолодевшее тельце, полетела. Сына на стол положила, вцепилась в Лейбе, объяснить ничего не могу. Тот осмотрел мальчика, послушал, нахмурился и вкатал ему какого-то остро‑пахучего лекарства. Через минуту Юзуф очнулся, глазками хлопает, сонный. Я выла, никак успокоиться не могла. «Если в следующий раз что – немедленно ко мне». Понесла Юзуфа обратно на кухню. Иду по поселку, вокруг – все качается, сына к себе прижимаю, никак наобнимать не могу. Стала рыбу чистить – глаза все время под стол тянутся, куда уполз Юзуф. Каждую минуту приседала проверять: все ли в порядке, не упал ли опять. Через несколько недель повторилось еще раз, уже вечером, когда мы с Юзуфом укладывались ко сну. Опять отнесла к доктору, опять сделали укол. Перестала спать по ночам. Отлучки на лесоповал с обедом стали мучением. Бегу с полными ведрами по тропинке, а сама думаю: вдруг с ним сейчас – это? Или через минуту? Через две? Прибегала каждый раз взмыленная, кидалась под стол: жив ли? Управляться с делами на кухне стала хуже. А в августе это все-таки случилось ночью. Я глядела в темноту открытыми глазами и слушала дыхание Юзуфа: вдох – выдох, вдох – выдох, вверх – вниз, вверх – вниз. Усталость последних недель тянула за ноги куда-то в глубину, в черный сон. Вода укачивает, уговаривает, вдруг рядом – лицо Игнатова, спокойное, ласковое. Руку мне, говорит, давай, утонешь же в меду. Глядь – а вокруг все желтое, словно из золота. Высунула кончик языка – и вправду: мед. От этого и проснулась. Во рту сладко. Рядом тихо. Юзуф – не дышит. Я его – трясти. Нет, не дышит. Кинулась с ним к лазарету, босая, с распущенными косами. Лейбе выскочил лохматый со сна, в одних кальсонах. У Юзуфа уже и кончик носа, и лоб, и руки – ледяные. После укола задышал, закряхтел, заплакал. На моих руках успокоился, опять заснул. А у меня самой – руки дрожат, сильно, по‑плохому, чуть ребенка не выронила. «Положите‑ка сына», – говорит Лейбе шепотом. – «И успокойтесь». Кладу Юзуфа на докторову подушку. Ноги – подламываются, не держат. «И в этот раз обошлось», – Лейбе протягивает кружку воды. «Хорошо, что вы заметили». Я хватаю морщинистую руку доктора, тянусь к ней губами. Вода выплескивается из кружки на пол. «Прекратите немедленно!» – сердится, вырывает руку. «Пейте лучше!» Беру кружку. Зубы стучат о жесть дробно, громко – не разбудить бы Юзуфа. Отставляю воду: потом напьюсь. «Доктор», – шепчу, не вставая с колен (и сама себе удивляюсь – я ли это говорю?), – «Разрешите нам пожить в лазарете – мне и Юзуфу. Я ведь не вынесу, если с ним что. Не прогоняйте, позвольте остаться. Спасите. А я для вас все – и постирать, и прибраться, и ягод набрать. И с больными могу помогать, если надо. Лишь бы Юзуф был по ночам здесь, к вам поближе». «Живите, сколько хотите», – говорит. «Если комендант не будет против». Через полчаса перетащила свои пожитки в лазарет, Юзуф даже не успел проснуться. К коменданту Лейбе пошел сам, не дожидаясь вопросов. Игнатов возражать не стал. Нам с Юзуфом выделили нары, отгородили занавеской. Утром, с Юзуфом под мышкой убегала в столовую. Вечером спешила обратно и убирала лазарет. Промывала полы, стены, столы, лавки, окна, нары. Затем перебиралась на жилую половину – драила половицы, печь, скребла крыльцо. Научилась кипятить в котелке бинты и медицинские инструменты. «Не надрывайтесь, прошу вас!» – говорил Лейбе. «Идите лучше спать!» Мы с ним дежурили у постели Юзуфа по полночи. Если бы это был кто угодно другой, не смогла бы заснуть, но доктору доверяла – ложилась и проваливалась в черноту сна, без мыслей, без сновидений. Это было в конце лета. Начинался второй год пребывания в поселке.

 Я ставлю котелок с бинтами в горячую печь. Юзуф возится на полу – ползает, играет глиняными игрушками. Дверь распахивается сама. В проеме высокий темный силуэт. Широкое платье до пят, сурово стукает о порог корявый посох. Упыриха. Шагает в избу. Ведет носом, втягивает воздух. « Пахнет чем-то», – говорит. Я отскочила назад, закрыла спиной играющего на полу Юзуфа. Тот ползает себе, лепечет что-то под нос, не замечает ничего. Свекровь идет, расшвыривает клюкой попадавшиеся на пути вещи. «Пахнет!» – повторяет настойчиво. Упыриха втягивает в себя воздух сильно, аж ноздрями хлюпает. Кончиком палки тянется к моему подолу платья, приподнимает, обнажает голые ноги. «Нашла», – говорит, – «чем пахнет: фэхишэ – блядью». Так меня еще никто не называл. От груди по шее, по щекам, по лбу – до самой макушки, поднимается противное удушливое тепло. «Да!» – повторяет Упыриха громче. – «Блядью, что думает по ночам о русском мужике Иване, убийце моего Муртазы…» Я мотаю головой, жмурюсь. А что возразишь? «…А живет – с немецким мужиком, иноверцем Вольфом!» «Мне сына вырастить нужно», – шепчу, – «на ноги поставить. Второй год ему пошел – не ходит, даже стоять не умеет. Ведь это внук твой». Упыриха брезгливо отдергивает от меня клюку, словно испачкавшись в нечистотах: «Забыла законы шариата и человеческие законы. Говорила я Муртазе: негодная эта женщина, грязная и телом, и помыслами…» «Муртаза умер. Имею право второй раз замуж выйти!» «…На глазах у всего народа – ночует с чужим мужиком под одной крышей! Кто она после этого? Блядь и есть!» – Старуха громко и жирно плюет себе под ноги. «Я стану доктору законной женой!» «Фэхишэ! Блядь! Блядь!» – Упыриха мелко трясет головой. «Клянусь!» – вжимаю голову, поднимаю руку, защищаясь. Когда опускаю – рядом никого уже нет. Юзуф возится, увлеченно постукивая глиняными игрушками. Я села на пол рядом с сыном, уткнула лицо в ладони и тихо, по‑щенячьи, заскулила.

 Я иду по лесной тропинке: на спине шаль с замотанным в нее Юзуфом, в одной руке корзинка, в другой посох. Иду к знакомому черничнику. И сама наелась, и Юзуфа накормила. Тот улыбается: и вкусно, и радостно, что мать так долго с ним возится, не уходит. « Все, улым», – говорю, – «Наигрались. Пора мне за работу». Расстелила в тени шаль, посадила на нее Юзуфа. Накидываю на волосы платок, чтобы не напекло голову. И начинаю собирать. Вдруг в зелени – сапоги: черные, новые; совсем рядом – протяни руку и дотронешься. Медленно подняла взгляд: Игнатов. Он прислоняет ружье к стволу, снимает и роняет в траву фуражку. Расстегивает верхнюю пуговицу рубахи, вторую, третью. Снимает ремень – пряжка на груди, пряжка на поясе. Рвет через голову рубаху. Я иду назад – как была, на корточках. Он делает шаг ко мне, приседает – его лицо приближается, пока не оказывается совсем близко. Протягивает руку – пальцы тянут узел платка – ткань легко подается, обнажает голову. Обеими руками Игнатов берет концы кос и тянет. Хватается за косы ладонями, перетягиваю к себе, не даю. Он медленно пропускает пальцы в волосы – и косы слабнут, расплетаются. «Жду ведь – каждую ночь», – говорит. Пахнет от него сухо, теплом и табаком. «Так не жди». Снять бы его пальцы с волос – да никак, цепкие. «Ты же баба. Тебе мужик нужен». Лицо у него гладкое, морщинки – тонкие, волосками. «Есть мужик, нашла». Глаза – ярко‑серые, с зеленью на дне, с широкими черными зрачками. «Кто?» Дыхание чистое, как у ребенка. «Муж законный – замуж я вчера вышла, за доктора». «Врешь». Его лицо – на моем. Я жмурюсь, упираюсь во что-то ногами, отталкиваю, перекатываюсь по земле. Вскочила, схватила прислоненное к дереву ружье, нацелилась в Игнатова. «Перед людьми и небом – муж», – говорю и делаю стволом знак: отойди. «А я ему – жена». «Опусти, дура», – отвечает он из травы. «Шмальнет». «Верная жена!». «Опусти ствол, кому говорят». «И ты за мной в урман больше не ходи!» Прищуриваю глаз, неумело беру Игнатова на мушку – конец ствола гуляет из стороны в сторону. Игнатов со стоном откидывается на спину, в траву. «Дура, вот дура‑то…» Медленно вожу стволом, глядя через прицел. Дальше – затылок Юзуфа. Еще дальше – коричневый лохматый треугольник: медвежья морда. Медведь стоит на опушке. Лениво косится на Юзуфа, в приоткрытой пасти светятся два нижних клыка. «Иван, как стрелять?» В горле – как песка насыпали. «Извести меня решила?» – из травы поднимает злое лицо Игнатов; оборачивается, видит медведя. «Курок сначала взведи», – шепчет. Мокрые пальцы скользят по холодному липкому железу. Где он, этот курок? Медведь негромко урчит, оглядывая то сидящего перед ним Юзуфа, то на нас. Потянула курок на себя – раздается громкий щелчок. Медведь рычит громче, встает на задние лапы, вырастает в лохматую громадину. Жму на крючок – грохает выстрел. Приклад сильно и больно ударяет в плечо, отбрасывает назад. В нос резко шибает порохом. Короткий испуганный вскрик сына. Медведь делает шаг к Юзуфу. Второй. Третий…. Валится на землю. «Ш‑ш‑ш…» – Игнатов кладет руки на мои закаменевшие пальцы, по одному расцепляет их. «Вот и хорошо… Хорошо…» Наконец освобождает ружье, отставляет в сторону. Я смотрю, как Юзуф, слегка пошатываясь на кривоватых ножках, идет к мертвому медведю. Первый шаг, второй, третий… Он подходит, звонко хлопает ладошкой по лбу; хватает за мохнатые уши и тянет; оборачивается ко мне и хохочет, он крепко стоит на обеих ногах.

 Я открываю глаза. Пора вставать – рассвет. Осторожно высвобождаю руку из‑под головы Юзуфа, кладу на подушку свой платок. Из всей охотничьей артели я уходила в тайгу самая первая. Своего первого медведя, убитого тогда, на Круглой поляне, вспоминала с теплотой: если б не он, до сих пор не знала бы, что глаз мой меток, рука тверда. Центр брал всех пушных – от обычных белок и куниц до редких соболей. За шкурки платили – вот уже семь лет я зарабатывала деньги. В артели я была полноценной трудовой единицей, а еще одной своей половинкой – вписана санитаркой при лазарете. Свою *половину* отрабатывала честно. Возвращалась из тайги засветло, до ужина, и – в лазарет: драить, скоблить, чистить, натирать, кипятить… Научилась и повязки накладывать, и раны обрабатывать, и даже вкалывать шприц в тощие, поросшие волосами мужские ягодицы. Лейбе поначалу махал руками, отправлял спать, затем перестал – лазарет рос, без женской помощи было уже не обойтись. С ног я действительно валилась, но уже потом, ночью, когда полы были чисты, инструменты стерильны, белье выкипячено, а больные перебинтованы и накормлены. Мы с сыном по-прежнему жили при лазарете. Пугавшие судорожные приступы у Юзуфа прошли, и постепенно ночные дежурства у его постели прекратились. Но Лейбе не гнал, более того, казалось, был рад нашему пребыванию на его служебной квартире. И я благодарно принимала подарок. Поначалу думала: раз живу с чужим мужчиной под одной крышей, значит – жена ему перед небом и людьми. И долг жены отдать обязана. А как иначе? Каждый вечер, усыпив сына, тщательно намывалась и садилась ждать доктора. Тот являлся за полночь, еле живой от усталости, торопливо глотал, не жуя, оставленную еду и валился на свою постель. «Не ждите вы меня каждый вечер, Зулейха, – ругался, – я еще в состоянии справиться со своим ужином». И немедленно засыпал. Я облегченно вздыхала и ныряла за занавеску – к сыну. А назавтра – опять садилась, опять ждала. Однажды, упав, как обычно, не разуваясь, на лежанку, Лейбе внезапно понял причину. Он резко сел в кровати, посмотрел на меня. «Подойдите ко мне, Зулейха». Подошла. «Садитесь‑ка рядом…» Присаживаюсь на краешек лежанки, не дышу. «…и посмотрите на меня». Медленно, как тяжесть, поднимаю на него глаза. «Вы мне ничего не должны». Испуганно посмотрела на него, не понимаю. «Ровным счетом ничего. Слышите? Приказываю: немедленно гасить свет и спать. И больше меня не ждать. Ни‑ког‑да! Это ясно? Еще раз увижу – выгоню в барак. Юзуфа оставлю, а вас – выгоню к чертовой бабушке!» Он не успел договорить – я уже метнулась к керосинке, дунула на огонек и растворилась в темноте. Так вопрос наших отношений был решен, окончательно и бесповоротно.

 Недавно вдруг поняла: хорошо, что судьба забросила меня сюда. Ютимся в лазаретной каморке, живем среди неродных по крови людей, разговариваю на неродном языке, охочусь, как мужик, работаю за троих, а мне – хорошо. Не то чтобы счастлива, нет. Но – хорошо. Ближе к середине дня мысли привычно сворачивают к опасной теме. Устала запрещать себе думать об этом. А не запрещать – можно додуматься до такого, что и представить страшно. Часто вспоминала тот день на Круглой поляне, семь лет назад. Как из травы вырастают черные сапоги, Игнатов садится передо мной на землю, тянет руку к платку… Ведь я тогда не его испугалась – себя: того, как мгновенно, от одного его взгляда, превратилась в мед – вся, без остатка, как потекла ему навстречу, забыв все, даже играющего неподалеку сына. И ружье целила не в него – в свой страх, в страх совершить грех с убийцей мужа. Грех не совершила – медведь помог. Из столовой скоро ушла, и обеды в комендатуру стал носить новый помощник. Игнатов с тех пор встреч со мной не искал. Все утекло, осталось в прошлом – как не было. Может, и вправду не было? Показалось? Но изо дня в день по опущенным игнатовским глазам видела – было. По тому, как внутри у меня что-то плавилось и таяло, когда поднимала глаза на комендатуру, – было. По тому, что думала об этом каждый день, – было. Он скоро стал пить, и крепко. Я терпеть не могу пьяниц. Думала, вот оно, лекарство: увидеть коменданта пьяным, глупым, озверевшим – сразу все мысли недостойные рукой снимет. Не вышло: при виде оплывшего игнатовского лица с красными глазами становилось не противно, а больно. Когда в очередной партии новеньких он приглядел себе коротковолосую рыжую шалаву, и она стала захаживать по ночам в комендатуру, я решила: все, наконец, вот оно – кончилось. А кончилось ли?..

 Было хорошо видно, как вдалеке, на пристани, грузится на свой катер Кузнец. Он еле держащится на ногах от тяжелого похмелья. Полуодетый Игнатов, шатается, цепляется за него, кричит, размахивает руками, а Горелов – держит коменданта, позволяет Кузнецу вырваться и запрыгнуть на катер. «Не могу!.. Отпусти!.. Не могу здесь больше!» – доносится вопль Игнатова. Устроенную ночью в Семруке свистопляску с пальбой по живым людям уже успели прозвать *вальпургиевой ночью*. К счастью, убитых не было, только раненые. Наконец катер отрывается от пристани. Горелов отпускает коменданта. Игнатов прыгает лодку и гребет за катером. Он слишком поздно замечает опасность: лодка врезалась в шевелящееся посреди реки блестящее месиво. Он отталкивает бревна веслом, но весло тут же ломается; через пару секунд Игнатов будто приседает, уменьшается ростом – и вот уже не видно ни лодки, ни его самого; только еще раз мелькает темно-русая голова – и все. Он очнулся ночью. Лоб стягивала тугая марлевая шапка; правая рука прикручена к плечу; левая нога туго закручена в марлю; половины ступни – нет. Лейбе раз в день его осматривал, а я вечерами меняла повязки. Приходила; глядя в пол, ставила на стол таз с горячей водой, клала рядом бинты. Игнатов уже сидел в кровати, смотрел. Ждал? Начинала с головы. Накладывала ладони на теплый затылок, разматывала бинт; горячей влажной тряпкой вела по коже, вокруг свежих бордовых швов; вытирала насухо. Сами швы смазывала самогоном; обматывала поверху чистым бинтом. Наступал черед руки. Кряхтя от натуги, кое-как снимала с большого и горячего игнатовского тела непослушную рубаху (он не помогал, даже здоровой рукой). Видела, как постепенно меняют цвет, светлеют и уходят огромные синяки. Под ними проступала кожа – светлая, чистая. Вспоминала курчавый живот и мохнатые плечи Муртазы, его могучее, похожее на дерево туловище. У Игнатова все было другое: плечи острые, тело длинное, узкое в талии. Снимала бинт, обмывала тяжелую руку, зашитую в двух местах, все синяки и ссадины – на груди, на ребрах, на спине. Под лопаткой зиял глубокий старый шрам, при виде которого я отводила глаза. Новая повязка. Сверху – надеть рубаху. Ногу обрабатывала в последнюю очередь. Ставила таз на пол у кровати, вставала на колени. Освобождала культю от марли, чувствала тяжелый игнатовский взгляд, обмывала. Он задерживал дыхание, кряхтел. Мучился, верно, не от боли – от злости. Вспоминала, как мыла ноги Муртазе; были у того даже не ноги – ножищи, широкие и толстые; пальцы разлапистые, в разные стороны; загрубевшие от хождения по земле черные ступни слоились и крошились в руках, как древесная кора. У Игнатова же ноги были длинные, узкие, ступни – сухие, гладкие, твердые. Наверное, и пальцы красивые. Этого не знала, здоровую ногу коменданта видеть не пришлось. Все остальное его тело знала, наизусть выучила. Промыть, вытереть, смазать, забинтовать. Все это время Игнатов сидел молча, ко мне лицом. Казалось, что он слушает мой запах. А еще казалось – нестерпимо пахнет медом. Горячая вода, бинты, даже самогон – медом. И игнатовское тело. И волосы. Не поднять глаз от пола. Не коснуться лишний раз. Не повернуть головы. Смотать грязную марлю, подтереть за собой пол и – прочь, прочь отсюда, стирать перевязочные тряпки в ледяной ангарской воде, остужать руки, щеки, лоб; сжимать челюсти, жмурить глаза, вызывать перед собой черный шатер; завтра опять туда, где уже ждет Игнатов. Так и жили весь остаток лета, до осени. А в сентябре доктор разрешил снять повязки. Сегодня – идти к коменданту в последний раз. Повязку на культе еще оставляли, но теперь, при обеих здоровых руках, Игнатов мог менять ее сам. Пришла, как обычно, на закате. Вхожу; ставлю таз на стол. А Игнатова в кровати нет – стоит у подоконника, опершись спиной об окно, смотрит на меня в упор с высоты своего роста. «Повязки снять пришла», – говорю тазу на столе. «Так снимай». Подхожу к Игнатову: высокий какой, выше Муртазы, наверное. «Не достану». «Достанешь». Встаю на цыпочки и тянусь вверх, запрокидываю голову; нащупываю пальцами знакомый ершистый затылок, разматываю повязку. Жарко в комендатуре, будто натоплено. «А пальцы‑то у тебя ледяные», – замечает Игнатов. Его лицо – совсем близко. Молча раскручиваю бинт; наконец, справилась. Погружаю ладонь с куском чистой марли в таз, в обжигающую воду; снова иду к Игнатову. «Не вижу ведь ничего». «А ты на ощупь». Поднимаю тряпицу вверх, накладываю на макушку, веду по крутому затылку. Горячие капли стекают по руке вниз, рукава кульмэк – мокрые. Обычно снимал к моему приходу ремень, сегодня – не снял. Долго и мучительно вожусь, справляясь с тугой медной застежкой; наконец ремень глухо звякает об пол. Разозлившись, не поднимает его; резко тяну плотную ткань рубахи вверх, сдираю с большого и неподвижного тела. «Вторую руку сломаешь», – говорит без улыбки; и сразу, без перерыва: «Останься». Зло и быстро раскручиваю длинные, бесконечные бинты; от злости ладони быстро теплеют, горячеют, плавятся, тяжелый медовый запах обволакивает. Вот уже рука Игнатова свободна от бинтов. Он осторожно шевелит пальцами. Поднимает ладонь и кладет мне на шею. «Останься», – повторяет. Вырываюсь, подбираю с пола все тряпки, хватаю таз; спотыкаясь и разбрызгивая воду, бегу к двери. «А швы‑то промыть?» – кричит он вслед. Поворачиваюсь и плещу горячей водой из таза в белую безволосую грудь. …Той ночью не смогла уснуть – лежу, слушаю темноту. Встаю, глотаю воду из ковшика; набрасываю на плечи пиджак, выскальзываю из избы. Спускаюсь к Ангаре, долго смотрю на лунную дорогу. Туже переплетаю косы, забрасываю за спину. Пора домой. По пути замечаю на холме, у комендатуры, ярко‑красную точку: Игнатов курит. Точка то жирнеет, то опадает, бледнеет. Мигает, как маяк – зовет. И я иду на зов. Игнатов замечает издалека – перестает курить, и красная точка бесконечно долго гаснет. Остановилась перед крыльцом, смотрю на сидящего на ступенях Игнатова; беру в руки косы, расплетаю одну, вторую. Протягиваю руку, отвожу тяжелый и мягкий на ощупь полог и иду в черный шатер. Время внутри черного шатра выворачивалось наизнанку. Я плыла в нем, как рыба, как волна. В черном шатре не было места воспоминаниям и страхам, его плотные шкуры надежно защищали от прошлого и будущего. Здесь было – только сегодня, только сейчас. Это сейчас было таким плотным и ощутимым, что влажнели глаза. «Скажи что-нибудь, не молчи», – требовал Игнатов, приближал лицо. А я смотрела в ясные серые глаза, вела пальцем по ровному, в тонких полосках морщин, лбу, по крутой и гладкой скуле, по щеке, подбородку. «Красивый какой». «Разве ж мужикам такое говорят…» Этой осенью я, кажется, не спала. Усыпляла сына, целовала в теплую макушку и – скорее вон из лазарета, вверх по тропе, где каждый вечер настойчиво звал, требовал к себе маленький красный огонек. Ночами глаз не смыкали, их всегда не хватало, ночей. А утром – проведать спящего сына, и – на охоту, вечером – в лазарет, убираться… Не было у меня времени спать. Да и не хотелось. Силы не убавлялись, а все прибывали, переполняли: я не ходила – летала, не охотилась – забирала у тайги что полагалось; и целыми днями ждала ночи. Стыдно не было. Все, чему была научена, что затвердила с детства, – отступило, ушло. То новое, что пришло взамен, смыло страхи, как паводок смывает прошлогодние сучья и прелую листву. «Жена – это пашня, на которой муж сеет семена потомства, – учила мать перед тем, как отправить в дом Муртазы. Пахарь приходит на пашню, когда возжелает, и пашет ее, пока есть силы. Не приличествует пашне перечить своему пахарю». Я и не перечила: сжимала зубы, затаивала дыхание, терпела; сколько лет жила, не зная, что бывает иначе. Теперь – знала. Сын чувствовал что-то, заглядывал в глаза, стал задумчивым, скрытным. И при этом стремительно взрослел, серьезнел. Той осенью Юзуф пошел в школу. В Семруке было восемнадцать детей. Занимались вместе. Я была рада, что днем сын занят в школе: присмотрен, накормлен. Вечерами, когда он помогал мне с уборкой, спрашивала: нравится? Да, отвечал, очень. Ну и ладно: считать‑писать научится – и хорошо. Мучило, что теперь я отдавала сыну не все свое тепло; что ночные поцелуи были жарче и обильней, чем вечерние, для сына; что ночью он мог проснуться один в постели и испугаться; что у меня появилась от него тайна. За это – обнимала Юзуфа крепче и дольше, зацеловывала, заласкивала. Иногда он вырывался, затем виновато смотрел исподлобья: не обиделась ли? В поселке, видно, о чем‑то догадывались. Я не задумывалась о том, что скажут люди; общалась мало, да и то со *старичками*, целыми днями пропадала в лесу.

 Снег лег поздно, в конце октября. Наступил сезон. Впервые я была ему не рада. Не было сил оторваться от горячей игнатовской груди, выскользнуть из-под его тяжелой руки. Уходила из комендатуры – как по живому резала. Шла в лазарет, а сама уже спешила глазами к холму, к высокому крыльцу, на котором разгорался маленький огонек. Той ночью Игнатов сказал: «Живи со мной». Подняла лицо от его тела, нашла в темноте глаза. «Забирай мальчишку и приходи». Ничего не сказала, положила голову обратно. А утром повалил снег. Буран мел так сильно, что дверь было не открыть, окна залепило белым, в трубе выло – как стая волков. В такую погоду лесорубы не пойдут в тайгу – заметет; и охотники не пойдут. Касаюсь пальцем игнатовского виска: «Хоть раз днем на тебя насмотрюсь». А ведь и правда: смотрела бы весь день. «Чего смотреть‑то», – он накрывает ее лицо своим. – «Насмотришься еще…» Оторвала голову от подушки, когда снаружи было уже совсем тихо – как вымерло все. Игнатов спит. Вокруг избы – скрип шагов: кто-то ходит по снегу. В окошке мелькнул темный силуэт. Бесшумно встаю с кровати, набрасываю тулуп, выскальзываю наружу. У заднего окна стоит кто-то высокий, большой, в длинном одеянии. Упыриха. «Старая карга», – подхожу к свекрови близко, рукой дотронуться можно. «Опять пришла кровь мою пить?» Та, словно услышав, отнимает от стекла бледное лицо, поворачивается ко мне: лоб, глазницы, щеки – все залеплено плотным белым снегом. «Уходи», – говорю внятно. – «Убирайся!» «Накажет…» – корявый палец с длинным загнутым когтем поднимается к небу. «За все накажет…»  «Прочь отсюда!» – я уже кричу. «Не смей являться мне больше! Это моя жизнь, и ты мне больше не указ! Прочь! Прочь!» Свекровь поворачивается спиной, торопливо ковыляет к лесу. «Ведьма!» – швыряю ей вслед снегом. «Ты давно умерла! И сын твой тоже!» Не оборачиваясь, Упыриха на ходу еще раз поднимает костлявый палец, угрожающе трясет им. Поднимаю глаза – на небе горит медная луна. Ночь? Уже? Вот почему так тихо вокруг. Юзуф! Лег ли спать? Заснул ли один? Спотыкаюсь на бегу, бросаюсь к лазарету. Юзуфа нет в постели – и валенок его, и тулупа, и лыж: сын, опять нарушил запрет, ушел встречать меня с охоты и не вернулся. Хватаю свои лыжи. На снегу две тонкие полоски – от лыж Юзуфа. Бегу за ним. Мой мальчик мерз ночью у лесного ручья, ждал меня, пока я отдавалась любовнику. Следы ведут дальше, в урман: видно, не дождался, пошел навстречу. Бегу вслед. Деревья мешают. Глубже в урман, глубже. «Юзуф!» – кричу. «Улым! Сынок!» Следы Юзуфовых лыж бледнеют – их заметала поземка; какое-то время то появляются из-под снега, то исчезают; скоро пропадают вовсе. Куда теперь? « Юзуф!» Урман молчит. Вот оно, возмездие, – за нечестивую жизнь без брака, с иноверцем, с убийцей мужа. За то, что предпочла его своей вере, своему мужу, своему сыну. Права была Упыриха – небо наказало меня. Нога зацепила корягу, и я полетела кувырком с какой-то крутой горки, сломала лыжи. Кое-как выбралась из сугроба. И вижу перед собой кусок сломанной лыжи. Не моей лыжи – сына. « Юзу‑у‑у‑уф!» – уже не кричу – вою. А впереди кто-то воет в ответ. По пояс в снегу, выбралась на маленькую поляну. Там кольцом обступили ель волки, смотрят вверх. Они замечают, крутят мордами, огрызаются, но с места не сходят. Один вдруг подпрыгивает высоко, и клацает зубами туда, где темнеет маленькое неподвижное пятно. Пошла на волков ровным, будто механическим шагом, на ходу заряжаю винтовку. Несколько зверей встают и медленно идут навстречу, окружают. Один срывается и прыгает первым. Стреляю. Затем еще и еще. Заряжаю быстро, как дышу: еще и еще. Вставляю вторую обойму: еще и еще. Тявканье, истошный визг, поскуливание, хрипы. Кто-то из волков пытается убежать, скрыться в лесу – не даю. Кто-то валяется с перебитым хребтом, дергает лапами – палю в упор, добиваю. Все патроны расстреляла, до последнего. Вокруг ели лежит полдюжины волчьих трупов; пахнет порохом, горелым мясом, паленой шерстью. «Юзуф! Улым!». С верхушки падает маленькое тельце – с неподвижным кукольным личиком, заиндевевшими бровями и ресницами, крепко зажмуренными глазами, – прямо мне в подставленные руки…

Четыре дня Юзуф горел в бреду. Все это время я стояла на коленях перед его кроватью и держала за руку. Спала тут же, приложив голову к его плечу. Ачкенази сам приносил еду; осторожно ставил миску на подоконник, забирал предыдущую, с нетронутой едой. Игнатов ходил каждый день. Я его не замечала – как не видела, заговаривал со мной – не слышала. Он подолгу стоял позади меня, затем уходил. На четвертый день, когда багровое тельце Юзуфа стало внезапно холодеть и исходить потом, а рот – медленно синеть, он не ушел: сел на соседнюю койку, положил рядом костыль, опустил лицо в ладони, замер – не то дремлет, не то думает. Долго сидел. «Уходи, Иван», – говорю. – «Не приду я к тебе больше». «Зато я – приду», – он поднимает голову. « Наказана я. Не видишь?» «Кем?» Подошла к Игнатову, сунула ему в руки костыль – он поддается, встает. «Кто бы то ни был – наказана»,  толкаю его слабыми руками к выходу. – «И все на этом. Все». Игнатов наклоняется, сжимает мои плечи, трясет – ищет взгляд. Наконец находит. Осторожно отпускает, берет костыль, медленно стучит к выходу. Когда стук пропадает за дверью, поворачиваюсь к сыну: Юзуф сидит в постели, бледный, лицо обтянуто кожей, глаза огромные. «Мама», – говорит тихим ровным голосом. «Я видел сны, много снов. И Ленинград, и Париж. Как ты думаешь, когда-нибудь я смогу туда поехать?»